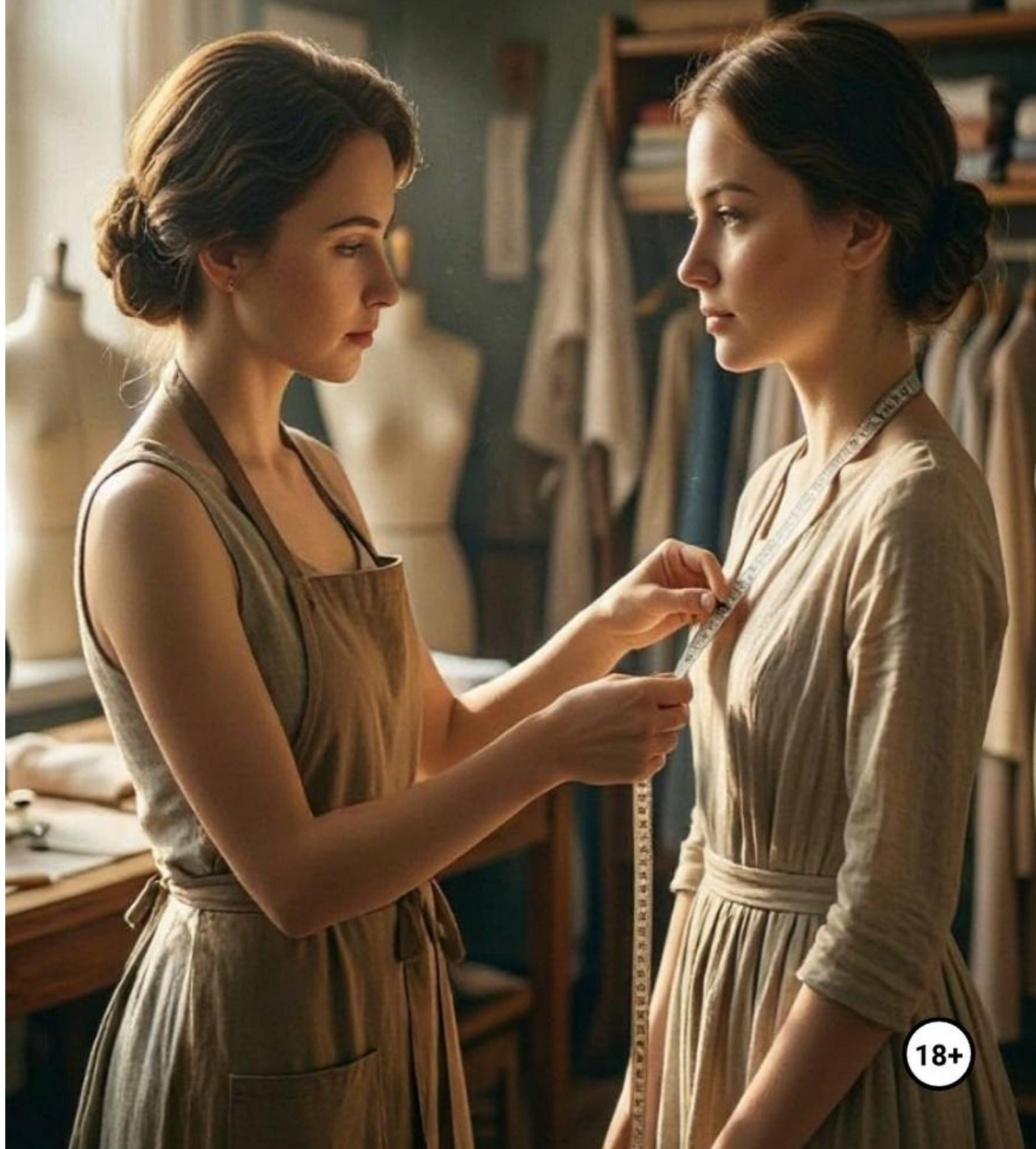


ВЕРНУТЬ ОНЕГИНА ЧАСТЬ II

АЛЕКСАНДР СОЛИН



18+

Александр Солин

Вернуть Онегина, часть 2

«Автор»

2026

Солин А.

Вернуть Онегина, часть 2 / А. Солин — «Автор», 2026

В середине восьмьдесят девятого начался ее внезапный и бурный роман с кооперативом, продолжительностью приблизительно равный ее роману с Сашкой. И если мы останавливаемся на нем, то лишь затем что, во-первых, последствия ее любви к нему были куда более благополучными, чем к Сашке, а во-вторых, потому что он принадлежит к разряду раздражителей, которые и довели ее, в конце концов, до Москвы.

© Солин А., 2026

© Автор, 2026

Александр Солин

Вернуть Онегина, часть 2

1

Находящиеся на службе у Высшего Замысла (а он, безусловно, существует) Время и Забвение, одинаково усердные и в созидании, и в разрушении, сами, судя по всему, в верховные планы не посвящены и лишены какой бы то ни было инициативы (по-крайней мере, в пределах гарнизона по имени Земля). В неравной борьбе с их ядовитым союзом память – наша, пожалуй, единственная, хоть и не всегда верная сообщница. Не имея вразумительного понятия об истинном, бесконечном, сквозном, так сказать, назначении вездесущего дуэта, выскажемся лишь по поводу того, что нам доступно.

В весьма вольной и наивной форме проживаемое нами время можно представить как торопливую попытку самореализации разума, гальванизируемого волной живительной энергии, исходящей от некоего космического источника жизни. Волной, которая следуя целям неведомого нам севооборота, сеет, лелеет и жнет, оставляя после себя сухую стерню, пожираемую пожаром забвения. Или как заметил бы с чужих страниц циничный церемониймейстер вселенского бала, чье имя слишком хорошо известно, чтобы называть его вновь: педантичное время зажигает и гасит фитили человеческих судеб, а брюзжащее забвение устраняет нагар и копоть оплывших свеч.

Далее: допуская существование космического источника жизни и находясь на гребне исходящей от него волны, спешим предположить наличие предыдущих и последующих жизненных волн, которые бывши и будучи ничем не хуже текущей, накрывали и накроют, а стало быть, оживляли и вновь оживят нас в той точке космического бала, где мы находимся. Более того, есть основания полагать, что следующее оживление произойдет приблизительно через столетие после угасания - такова нынешняя длина полуволны нашего времени.

Как, однако, удивительно может быть устроен этот Космос! Этакая серийная помесь морозильника с инкубатором! Согласитесь, что допуская подобный многоцветный порядок вещей, мы первым делом рассеиваем для себя тьму веков (ибо она не позади нас, как принято считать, а впереди – ведь о прошлом мы знаем куда больше, чем о будущем). Стоит ли говорить, что такая возможность способна взбодрить самый слабый дух и добавить хмельного задора в унылый вопрос о смысле жизни!

Однако как ни соблазнительна наша гипотеза, она ничего не стоит, если в природе отсутствует семя, способное противостоять забвению и оживать с каждой новой волной. И на наш наивный взгляд такое семя существует и хорошо известно всем народам. Да, это она, вечная душа – невидимая и независимая от тела сущность, предвосхищенная одними мудрецами и не опровергнутая другими. Изготовленная в божественной лаборатории, она как нельзя лучше подходит на эту роль и с удовольствием ее играет, когда ее собственные колебания совпадают с частотой предназначенной ей волны. Если, конечно, процессу не мешает реверберация. Можно даже с размахом предположить, что ее чипы населяют все существующие планеты, в том числе необитаемые, терпеливо ожидая, когда там сложатся условия для жизни.

Возможно, в этом месте язвительные скептики, не выдержав нашего размаха, возразят, что поскольку у людей нет достаточно ясных, связных, научно подтвержденных воспоминаний о предыдущих опытах, то и наши рассуждения об их поливительности бесцеремонны и беспочвенны. Успокоив сочувствующих бодрим замечанием, что такое вполне возможно, если к новой жизни прилагается чистая память, мы спросим скептиков: отчего же тогда напряженным бисером проступают сквозь поры нашей души смутные стремления и влечения, похожие на призыв завершить однажды начатое? Откуда эти пугающие *déjà vu, vécu, entendu, baisé, aimé,*

hainé, эти далекие туманные озарения, смутные приступы сожаления, глухие всплески соучастия и неясные отблески былых грез? Откуда в нас опережающие возраст фантазии, ранняя рассудительность и чужие сны? И не похожи ли мы на рожденные беременной тучей капли дождя, падающие на землю, чтобы, смешавшись там с другими каплями, разделить с ними упоительный страх полета и спустя некоторое время вновь вернуться на небеса?

«День – это прозревшая ночь, и нашим суткам нет числа» - окончательно скажем мы, обратив черно-белые бемоли и диезы наших предположений в единую, возможно, отдающую диссонансом, но такую желанную симфонию мира. Хотя бессильные опровергнуть наши утверждения критики, вероятно, и правы, заявляя, что наша идея регулярного воскрешения слишком хороша, чтобы быть правдой. Уж не приманка ли она все того же распорядителя бала, пожелавшего проявить несвойственное ему милосердие?

Да пребудут с нами Бог и Интернет!

С житейской точки зрения нет ни малейшего сомнения в том, что время - это назойливое и неизменно сопутствующее нашим наблюдениям наваждение, существует, и пусть прямых, материальных доказательств его существования у нас нет, но есть бесконечное число косвенных, включая туда нас самих, наши вещи и наши фотографии. Впрочем, вот опыт, который позволит нам обнаружить нечто большее, чем его присутствие. Для этого достаточно включить диктофон, сунуть его в нагрудный карман и отправиться с ним на прогулку. Вернувшись и исследовав запись, мы придем к выводу, что перед нами самая настоящая фонограмма времени, его, так сказать, освобожденный от наших чувств и мыслей монолог – та самая хронотопальная «минусовка», под которую вот уже многие тысячелетия поет и пляшет как отдельный человек, так и все человечество. Прав был, выходит, праздный исследователь ткани времени, утверждавший, что «время неуловимо связано со слухом». Но сначала со звуком, поспешим добавить мы.

Бесплотное и невесомое, время сплюсчивает до алмазной прочности земные породы и спрессовывает до учебника истории человеческую эволюцию. Породив, чтобы убить, и следуя высокомерной привычке не оглядываться, оно покидает место преступления, оставив подручных уничтожать многочисленные улики. И здесь как нельзя кстати наши фотографии - невозмутимые подсказки и поправки оговорок памяти. Они - отпечатки пальцев, которыми время держит нас за горло, перед тем как задушить.

Фотографии, как и платяной шкаф, обладают особой и чувствительной способностью опрокидывать нас в прошлое. Именно фотография сделала обывателя художником и заставила художника бежать из тисков подобию. Было бы неразумно считать фотодело всего лишь нашей жалкой попыткой предъявить времени счет. Гораздо скромнее придерживаться того мнения, что смотреть в объектив – значит улыбаться себе будущему, ибо единственный персонаж, который будет интересовать нас всегда, это мы сами. Именно для этого вглядываемся мы в послание из прошлого, стараясь не замечать осевшего на нем пепла прошедших лет и надеясь, что перемены не так плачевны и разрушительны, как это утверждает зеркало.

Мы не склонны документировать мятежную часть наших дней, и когда кто-то наводит на нас фокус, готовясь отправить случайный миг нашей жизни в будущее, мы успеваем в последний момент обезличить черты лица и спрятать наши мысли под улыбкой, ибо, оказавшись лицом к объективу, мы думаем только о том, чтобы понравиться другим, и в первую очередь себе. Не оттого ли на снимках мы выглядим манерными, однообразными и легкоузнаваемыми?

Что касается дел обскурных, то вопреки их самоуверенному прогрессу заметим только, что между вдумчивой пленочной рачительностью и стрекозиной цифровой расточительностью разница такая же, как между былым монументально-обстоятельным «запечатлеть» и нынешним мазутно-неопрятным «сфоткать». Где, скажите, услышишь теперь этот хищный хруст спущенного затвора, которым он, как ударом бойка, как междометием, звонкой нотой, птичьим щелканьем, вскриком клаксона, словом, как всяким звуком, неподкупно свидетельству-

ющим в пользу реальности, похищал и прятал в тесной темнице избранный миг? Куда делось то особое тридцатишестикадровое состояние доморощенного фотографа, которое пронумерованным числом попыток умеряло его аппетит и требовало отбирать натуру заведомо характерную и выразительную, толкая его тем самым на путь искусства? Разве может сегодняшний гигабайтовый хлам - эти кладовые надуманных поз и гримас, эти отвалы фоторуды, эти залежи дурной документальности - сравниться с дорогими сердцу кусочками пергамента, хранящими барабанное напряжение пространства и помеченными потертой печатью самого Времени? И то сказать: филькиной грамоте никогда не стать историческим документом. А потому, переберите свой архив, пожалейте и возлюбите себя!

Но так уж ли разумно доверять постаревшим, нередко подслеповатым свидетелям происшествия по имени жизнь, в один голос утверждающим, что когда-то все его участники были молоды, красивы и благостны? Стоит ли верить их старомодному мнению, что жизнь безмятежна, и самое худшее, что грозит ее позирующим пособникам – это рассеянная задумчивость? Так уж ли безвредна их скрытая индуктивность, незаметно возбуждающая в нас желание спуститься в подвалы памяти, где натываясь в темноте на дикие экспонаты, мы совершаем порой неожиданные открытия?

2

Совсем недавно, каких-нибудь две недели назад, или если следовать принятой Аллой Сергеевной хронологии, имеющей закладным камнем событие такое же горестное, как и пост-эпохальное, а именно: раннюю смерть любимого, уважаемого мужа - так вот, через два года после смерти мужа нашло на нее давно забытое желание перебрать старые фотографии. Словно перед тем как одобрить протокол ее созревших намерений, некто строгий, неподкупный и верховный потребовал приложить к нему иллюстрированное подтверждение ее жития. Не оттого ли так связны и фотогеничны сегодня показания ее памяти, что полумесяцем ранее она, потратив полночи и помогая себе коньяком, склеила из черно-бело-радужных черепков некое внятное, похожее на сосуд подобие своей жизни - на две трети крутобокое, с обожженными молодым пламенем бедрами и одной третью восходящее к цветной глянцевой горловине настоящего: прихотливое прибежище мятежного джина. Может, потому и решила она пойти на «Онегина», чтобы представить строгому суду свою смягченную жаром искусства душу и пластичной ее податливостью убедить его и себя в способности к милосердию (способности, конечно, благородной, но непрактичной, полагал ее жизненный опыт)? Ах, если бы еще она могла объяснить себе, зачем ей это нужно! Может, таким своенравным образом решила она обмануть своевольную судьбу? Или попыталась вправить застарелый душевный вывих? Или вознамерилась с высоты своих достижений бросить к их подножию кость милосердия, похожую на вставший поперек горла вечный укор?

...Никто и никогда ни до, ни после не снимал ее так много и так страстно, как Савицкий. Везде – и в центре его внимания, и в фокусе его сердца была она: его солнце, его луна, его муза. Не удивительно, что значительная часть фотоархива, не попавшая в официальный, салонный, так сказать, альбом ее жизни и хранившаяся безжалостным образом в одном из многочисленных раздвижных шкафов загородного дома, относилась ко времени их свободного союза.

Колюня имел роскошный по тем временам «Зенит-Е» и повадки бывалого фотографа: глазами примеряясь к натуре, он слепыми руками готовил к работе приспущенный к животу аппарат, чтобы вдруг вскинуть его, прицелиться и похитить ее у времени. Добавим от себя: в ту пору она, безусловно, была хороша (впрочем, хороша она и сейчас), и Колюня снимал ее, как иконы плодил. Он словно задался целью явить миру анатомию ее улыбки, для чего острожаточенной долей секунды расслаивал на кадры движение ее лица, нечасто и внезапно озарявшегося лучистым совершенством. Помнится, утомленная его инструкциями вроде «Сядь здесь,

повернись к окну, посмотри туда, улыбнись, ну улыбнись же!», она обрывала съемки недовольной гримаской: «А ну тебя!..», и он лез целоваться.

Им были увековечены ее наряды, прически, повороты головы, нюансы настроения, игра света на сцене ее лица – мягкий, не медальный профиль, завлекательный витринный анфас, вопросительный полуоборот, манерные три четверти и ее отстраненные, обращенные на внутреннего собеседника глаза. Все тени, кроме ровных высветленных щек – овальные, выпуклые, растушеванные. Фотофея, да и только! Интересно, что такого надеялся открыть в ней Колюня сверх того, что видели его глаза? Что выискивал в ней его пучеглазый соглядатай, хладнокровно целясь в нее прищуренной диафрагмой?

Она запрещала ему снимать исподтишка, но судя по беглым, недозревшим гримасам, которые он умудрился ухватить, азарт в нем превосходил послушание. И если считать, что лицо, как и язык, состоит из выражений, то впору говорить о грубых, низких словечках, которые злорадный монокль расслышал и записал и которые, как ей казалось, никогда за ней не числились. Господи, боже мой, откуда у нее в те святые праведные годы вполне оформившийся зародыш равнодушной кривой усмешки? Зачем этот хмурый исподлобья взгляд и перекошенный уголок рта – колючий росток скрытой брезгливости? Или это не более чем неопрятные и временные следы затянувшегося ремонта души?

В пачках фотографий, как и в ее снах не было хронологического порядка, и ранние, сороцъей тональности снимки мешались с перламутровыми проблесками московской поры. Оттого рядом с черно-белой улыбкой восемьдесят шестого года обнаруживалось ее разноцветное присутствие на презентации коллекции две тысячи пятого года, где она занимала почетное по отношению к фигурам второго плана место. Или вдруг из бесцветного восемьдесят девятого года выныривал налитым кровью кукишем вытянутый в сторону объектива новенький красный диплом и ее чуть смазанная победная физиономия, а вслед за ними цветной факт ее счастливого материнства с пятилетним кудрявым плодом мужского пола на руках заслонял текущие напасти. Новая заячья петля времени, и вот она на комсомольской вечеринке под ревнивым Колюниным присмотром тянется к кому-то поверх водочных бутылок добрым осоловевшим лицом, и веселая ее молодость мирно соседствует с редкой фотографией ее сурового мужа. Что подделаешь – не любил покойный (царство ему небесное!) подставляться под объектив.

Да, был он мужем надежным, любящим и верным. После ухода оставил ей и их сыну все свое немалое состояние и некоторые обязательства перед неоднозначным сообществом, к которому принадлежал. Кроме того поручил своему немногословному, неподкупному другу Маркуше защищать ее интересы и обеспечивать покой и благополучие вплоть до тех пор, пока не придет им время встретиться сами знаете где. Ах, как удивительно, неправдоподобно и невообразимо соединились их пути! Нет, нет, об этом невозможно вспоминать вот так, походя – без влажных ресниц и почтительного умиления. Вокруг их истории надо покружить и многозначительно помолчать, пока алые паруса золушкиного счастья наполняются благоговейным порывом признательности. Позже, позже, дайте проглотить благодарный комок...

А здесь она поздняя, раздающая указания. На фото невозможно разглядеть выражение ее глаз и не видно тех, кому предназначен своенравный поворот ее головы, но очевидно, что ситуация для ее собеседников язвительная и несладкая. А здесь она на майской демонстрации в самом центре девчоночьей прослойки – прямая, не по чину элегантная, с откинутыми плечами. Видимо, сказала в объектив что-то острое, потому что все девчонки свернули головы в ее сторону и смеются.

И тут же она на разморенном жарой берегу, на пороге желанной речной свежести – в смелом купальнике, ладная, соблазнительная, с лоснящейся на солнце, словно глянцева упаковка кожей. Самую малость не дотянула она тогда (а теперь и подавно) до своих сегодняшних девочек, что позванивая грудью, покачивая бедрами и поигрывая струнами ног, несут на себе груз ее фантазии. Да, любил Колюня коллекционировать ее полуобнаженную статью – хватит на

целый альбом. Сам же и рассматривал зимними вечерами на диване у торшера, перед тем как забраться к ней под одеяло с электрическими руками и холодными ногами. Она откладывала книгу и закрывала глаза, и он с лихорадочным усердием предавался фото-фантазиям, каждый раз рассчитывая обнаружить в оригинале радушие и доступность фотокопии. Она же всегда отвечала ему только той степенью и образом, которых требовало здоровое, нетронутое любовным чувством плотское удовлетворение. Не он, так другой – такова была на тот момент парадигма ее фригидной души. И все же нельзя не признать, что ей с Колюней сказочно повезло: более надежного и нетребовательного мужчину, способного к тому же подкреплять авансированную на сто лет вперед любовь делами, трудно себе представить, и она искренне рада, что именно ему достались ее самые жаркие молодые годы.

Опять застолье, теперь уже в техбюро. Освещение и качество снимка отвратительные, повод все тот же – чей-то день рождения или канун праздника. Как бы чай, и пока еще вполне пристойные физиономии. Прямые спины, скрещенные руки, потупленные взоры: все внимание начальнику, чья задача – придать пьянке государственное значение. Нелегкая, прямо скажем, задача – процесс демократизации и гласности зашел уже слишком далеко, но все закончится общим воодушевлением и отборными песнями. Было начальнику сорок пять, и был он к ней равнодушен, ох, равнодушен! Но властью ему данной не злоупотреблял и учебе ее никоим образом не мешал.

Восьмидесятые годы, карнавал цирковых силуэтов и буйных красок, заканчивались, и она приветствовала их кончину смелой выходкой – прямым бежевым демисезонным пальто чуть выше колен, где ширина узких плеч равнялась ширине узких бедер – шедевр сногшибательной элегантности, дерзкий вызов осточертевшей арлекиншине, контрамарка в мир избранных. Гладкий, безукоризненных пропорций пенал, легкий, украшенный узлом газового шарфика раствор горловины, умеренная складка воротничка обрамляет стройную шейку, забранные в узел волосы, длинная, узкая, похожая на повзрослевшее портмоне сумочка – неужели это она? Дважды она в сопровождении потного от волнения Колюни выходила в этом наряде в свет и оба раза чувствовала себя этакой бежевой межой между грачиной чопорностью аппаратчиков и попугайчатой развязностью молодого населения, увлекаемого нарождающейся анархией нравов. К ней за дубликатом выстраивались в очередь, и девятерым из десяти она отказывала, чтобы неуклюжими кондициями страждущих не портить силуэт. Через десять лет она возобновит фасон, и снова он будет иметь бешеный успех, теперь уже у безмозглых, тощих подруг новых купцов и бояр, привыкших посещать места, где встречая по одежке, по ней же и провожают.

Так, так, так! А как тут, позвольте спросить, оказался светлый лик ее сынули, чью цветную диаграмму роста хранит отдельный, красной замши альбом, что всегда под рукой в ее кабинете? Что делает среди эскизов материнской жизни ее золотце, ее ненаглядный ангел, ее красивый, порывистый и добрый мальчик, внук путейщицы и хулигана, ныне постигающий науки в Лондоне – ее русоголовый Санечка? Да, да, Санечка. И это единственная вольность, которую она себе позволила в отношениях с мужем, назвав ненавистным ей когда-то именем самое дорогое, что у нее есть.

Редкий и не очень удачный снимок из кооперативных времен. Они с подругой не то загружают, не то разгружают легковую машину. В руках у них по картонной коробке, еще несколько таких же стоят на земле. Господи, что это за тряпье, в которое она одета, и зачем она так неловко и некрасиво согнулась? Лицо смазано, руки скрючены, вид затравленный! Обратная сторона подиума: модельер, она же модель за кулисами публичности. Невразумительный, унижительный, бесчеловечный снимок: Колюня никогда бы так не снял! Впору порвать! А впрочем, пусть будет. Придет время, и внуки узнают, как и с чего начинала их бабка, основательница модного нынче бренда ASK.

И вот, наконец, то, ради чего она устроила весь этот парад-алле. Когда-то давно ее неугомонная подруга Нинка, приехав к ней в Москву, привезла с собой эту фотографию и почти насильно всучила со словами: «Оставь на память, ну, оставь, прошу тебя...». И она, помедлив, усмехнулась и впустила в дом беспечную компанию в составе себя, Сашки, Нинки и ее брата. После, оставшись одна, она долго вглядывалась в упрямый факт своей биографии, размером и важностью походивший на лимфатический узел судьбы. Место действия – их двор, время действия – некий миг самой ранней, судя по ее кофточке, поры их с Сашкой отношений, когда они, увлекаемые маскарадом невинности и строго блюдя публичную дистанцию, избегали смотреть друг на друга. Случайное мгновение того кипучего хоровода чувств, что закручивался не по дням, а по часам, и которое прозревшее настоящее снабдило ироническим оттенком: вот двое мужчин, двое самцов, с которыми она росла в одном вольере – один лишил ее девственности, другой сделал из нее женщину. Какая пошлая, местечковая, зоологическая неразборчивость!

Помнится, разочарованная, она сунула снимок в самый омут своей бумажной фотожизни и больше к нему не возвращалась. Теперь вот нашла и извлекла его оттуда: пусть полежит некоторое время на виду.

Напоследок она обвела глазами спрессованные залежи прошлого: все же, какая она была разная! Да, это всё она – бывшая в употреблении и употреблявшая других, хмурая и лучезарная, злая и вежливая, добрая и смущенная, фальшивая и настоящая, навсегда оставшаяся в мимолетных по обе стороны невозмутимости мгновениях. И все-таки больше других ей понравилось фото, где она в тонкой домашней кофточке с подтянутыми к локтям рукавами склонилась над столом, и выбившиеся из-за ушей длинные пряди почти касаются выкроек. И продолжение этой сцены: она, оторвав взгляд от калек, смотрит размытым взором в будущее, словно откликаясь на чей-то дальний и неясный зов. Интересно, где и когда это было?

Трудно сказать, потому что это было везде и всегда.

3

В середине восьмидесят девятого начался ее внезапный и бурный роман с кооперативом, продолжительностью приблизительно равный ее роману с Сашкой. И если мы останавливаемся на нем, то лишь затем что, во-первых, последствия ее любви к нему были куда более благополучными, чем к Сашке, а во-вторых, потому что он принадлежит к разряду раздражителей, которые и довели ее, в конце концов, до Москвы.

Перед этим она с золотым блеском защитила дипломный проект, важно озаглавленный «Технологическое обеспечение и организация швейного потока при малосерийном производстве». Спешим обратить внимание будущих биографов Аллы Сергеевны на то, что именно здесь начинаются истоки ее творческой приверженности к малосерийности, которую она в силу цельности натуры распространила и на прочие жизненные ценности. Подтверждение тому можно усмотреть и в ее тесном дружеском окружении, и в узком перечне привязанностей и увлечений, и даже в количестве детей, которых у нее могло быть в четыре раза больше, не избавься она от двоих на самой ранней стадии и не потеряй одного самым печальным и горестным образом.

Вслед возвращению из Омска, где она, несмотря на настойчивые приглашения последних лет ни разу с тех пор не бывала, последовала бурная всенощная пирушка. Она до сих пор помнит усердие, с которым их общие с Колюней друзья обмывали ее итээровское звание. Помнит свое усталое победное ликование и огненные волны опьянения, которые она пыталась тушить чашками кофе. Помнит разрушительную головную боль следующего дня. Не помнит только количество рюмок водки, которые она выпила, закусывая горьким злорадством, адресованным предателю, не дождавшемуся ее триумфа.

Еще раньше она посмотрела «Интердевочку», нечаянным образом подтвердившую ее язвительное мнение, что женская мода превращается в парфюмированный ажурный шабаш сексуальной неразборчивости. После этого (но не вследствие этого) она трижды отклоняла Колюнины руку и сердце, в промежутках вникая в его возбужденные толкования тех растерянных действий, которые именовались внутренней и внешней политикой партии. Да что говорить! Достаточно чувствительному русскому человеку вообразить верстовой столб с отметкой 1989, и он вновь ощутит те скрытые нарастающие гул и дрожь, какими сопровождается нашествие диких слонов, носорогов, буйволов и черт знает какой еще адской помеси рогов и копыт, от которых начинает опасно потрескивать тело империи.

Что до Колюниных предложений (отклоненных, кстати сказать, с милой признательностью и намеком на надежду), то теперь, когда у нее на руках был диплом, когда все ее прежние отговорки потеряли силу, ее упорное равнодушие к замужеству сбивало Колюню с толку, заставляя нервничать и призывать на помощь Гименея. Возможно, он почуял ее крепнущую готовность пуститься в одиночное плавание, иначе зачем ему было превращать обходительную, деликатную постель в жаркую потную кузницу. Сливаясь со своей Алечкой и лобастой неутолимой страстью доводя ее наковальню до звонкого иступления, он как бы выковывал из их соитий тяжелую длинную цепь, которой желал приковать ее к себе, как к якорю. Наваливаясь на нее всем телом, он совокуплялся с какой-то коренастой, диковатой, обреченной настырностью – таким коктейлем из любви, обиды и ожесточения. И даже когда она затихала под ним он, упиваясь ее покорностью и затягивая насколько возможно окончание, продолжал с неистощимым пылом выталкивать из нее слабые стоны, питая ее расплющенной, жалобно мычащей, изнемогающей доступностью свои надежды. Было бы полным абсурдом думать, полагал он, что отдаваясь ему до такой степени, она втайне связывает свое будущее с кем-то или с чем-то другим. А стало быть, считал он, рано или поздно все решится в его пользу, и следует лишь запастись терпением. Обнимая и оглаживая ее подтаявшую в любовном пламени волю, он заводил солидный разговор о том, как они заживут, когда поженятся. У него был ресурс, у него была перспектива (осенью он должен был стать первым секретарем райкома комсомола), от которых в будущее тянулись щупальца далекоидущих планов. Натурально, нужно быть круглой душой, чтобы не дорожить им, скажем мы вместо Колюни, который сам огласить эту мысль ни за что не решился бы.

Разумеется, от нее не укрылся повышенный градус его обхождения, и ей оставалось только тихо радоваться дальновидному благоразумию, с которым она, не доверяя скрипучему скафандру, что со вздохом натягивал на себя его водолаз, уже полтора года подкрепляла свою герметичность защитными свечками. И пусть она при этом была похожа на ту монашку, что надевает презерватив на стеариновую свечку, но воистину береженого бог бережет. И неспроста: за это время ей не раз случалось обнаруживать в себе его следы. Отсюда, между прочим, недалеко до вывода, что ее беременность произошла вовсе не по ее вине, как она раньше думала, а по небрежности Колюни, которую он, зная о ней, скрыл, как скрывал и последующие. Она нисколько не удивилась бы, если бы он признался, что таким тайным способом желал ее обрюхатить и удержать возле себя. Вот лишнее подтверждение той абсолютной истины, что мужчинам доверять нельзя!

Довольно скоро ей надоело играть с огнем, надоело быть раскаленной заготовкой в горниле его настырной страсти, надоело поминутно встречаться глазами с его пропащим, заискивающим взглядом, и она, сославшись на усталость, большую часть недели стала проводить у себя, задумываясь над тем, как лучше распорядиться плодами просвещения. И какие бы траектории не выписывали ее мысли, все они подобно железнодорожным путям упирались в Москву. Только тут вот какое дело. Для того чтобы стать свободной, ей предстояло оторвать себя от фабрики, с которой она была связана пуповиной обязательств, в том числе моральных. И не просто оторвать – с этим она как-нибудь справилась бы - а к тому же заручиться отменной

характеристикой, без которой о московском Доме моделей не стоило даже мечтать. Это как если бы отменяя по своей прихоти свадьбу, невеста продолжала рассчитывать на приданое. Кто же ей такое позволит, и кто же другой в такой возмутительной ситуации может весомо и убедительно попросить за нее, как ни Колюня? Вот почему она почти безотказно позволяла его каменному командору хозяйничать в ее недрах, вот отчего терпеливо сносила его затяжные коды и оставляла ему надежду на брак. Скажете – бессовестная? А как бы вы поступили на ее бесправном месте? Вот то-то и оно!

В мае она впервые намекнула ему, что не прочь уйти с фабрики.

«И чем ты собираешься заняться?» – поинтересовался он, ни сном, ни духом не посвященный в ее подноготные планы.

«Уйду в индпошив» – соврала она.

Вот тут он и предложил ей создать кооператив.

«Зачем он мне?» – недоуменно повела она плечом: мало того, что кооператив был для нее такой же неизвестностью, как шелк для древних египтян, он к тому же вставал поперек ее пути в Москву.

«Ну, во-первых, будешь сама себе хозяйка. А во-вторых...» – отвечал он.

Несколько дней она провела в раздумьях. Собственно говоря, мысль о кооперативе посещала ее и раньше. Более того – представлялась ей второй по значению после Москвы. Ведь на деле ее навязчивое стремление в столицу не имело за собой никакого подкрепления – ни родственниками, ни друзьями, ни чудесным благоволением случая, ни бывшим любовником, забытым и чужим, как и все москвичи. И получалось, что ей, дальше Омска с его дружеско-любым общением не бывавшей, предстояло уехать в самый большой город страны, где ее никто кроме судьбы не ждал. Каково двадцатичетырехлетней красотке заявиться в одиночку в Москву и там не пропасть? Разумеется, она знала адрес Дома моделей (кто же его не знает!) – ведь именно туда несколько лет назад командировала она свою мечту. Но знал ли Дом моделей о ней?

Спросите молодых мужчин, чем влечет их к себе большой город, и их ответы удивят вас переливчато-уклончивой сложностью. На самом же деле они едут туда, чтобы опередить в будущем другой вопрос – почему они, не уехав, начали пить. С женщинами проще – они едут в Москву попытать личного счастья, и если очень повезет, то выйти там замуж. Ну, а если нет, то извините – Москва слезам не верит. Ведь это только в кино оголтелое счастье гоняется за одинокой девушкой и в конце отведенного режиссером срока настигает ее. А она, Алла Сергеевна Пахомова – готова ли она выйти замуж за москвича? Даже не сомневайтесь – всегда готова! И выйдет. С ее-то данными! Так, может, сначала замуж, а потом Дом моделей? Докучливые, утомительные подробности обустройства жизни на чужой стороне. Пока ясно только одно: прежде чем переселяться в Москву, следовало съездить туда на разведку. Вдвоем, а лучше втроем. Ведь даже пошлая необходимость сбежать в туалет потребует кого-то, кто присмотрит бы за вещами.

Интересно, как она представляет себе уход от доверчивого Колюни? А вот как: однажды она без всяких предварительных объяснений сядет в московский поезд и уедет, не предупредив его. Нет, конечно, потом она ему напишет и попросит прощения, но его мнение о ней ее мало интересует уже сегодня.

«А во-вторых, – продолжал Колюня, – очень скоро все может измениться, и ты опередишь события. В любом случае, ты ничего не теряешь...»

Может, изменится, а может, не изменится. Да как вообще можно было на что-то рассчитывать в той атмосфере вдохновенного, близорукого, всеобщего вранья, скрывавшего трескучие признаки распада? Колюня, ты сам-то верил тому, что говорил? В одном он был прав: пришло время выбирать – выбирать между осязаемой, сиюминутной самостоятельностью здесь и затяжным подневольным трудом с неясными перспективами там. И прислушавшись к слож-

ной реверберации натруженного баритона здравого смысла, визгливого тенора духа противоречия, подголосков внутреннего голоса и сонных отзвуков наития, она выбрала кооператив. В конце концов, если отбросить разговоры о мире прекрасного, о самовыражении, образности, соответствии времени, о массовом и элитарном, субкультурах и тому подобной ерунде, то останется универсальная истина всех времен и народов - все хотят одеваться красиво, но не все знают, как этого достичь.

4

Мавр сделал свое дело – пришел с миром и обратил строптивное руководство фабрики в покладистого союзника. Решительным аргументом для нежелающего поначалу ничего слышать начальника отдела кадров стал авторитетный Колюнин блеф о чуть ли не тайной кампании по развитию нового, а на самом деле хорошо забытого вида частной собственности - кооперативной, которая кое-кому представлялась если не крыльями новой экономики, то уж точно ее оперением. С партией начальник ссориться не захотел, и Аллу Сергеевну отпустили с миром, приложив к договору о мире характеристику – ту самую, которая требовалась.

Оказывается, пройдя за короткое время путь от и до и успешно закончив по пути заочное отделение профильного вуза, она успела проявить себя со всех сторон: сколько ее знаем, сами удивляемся. Вы только посмотрите на нее: активная, инициативная, трудолюбивая, с многообещающими задатками руководителя, с ответственным и творческим подходом к решению производственных задач, с незаурядными конструкторскими способностями и большим опытом моделирования новых образцов одежды! А уж какая общественница – такую неугомонную еще поискать надо! Стоит ли говорить, что она девушка сознательная и политически грамотная, в быту скромная и морально устойчивая, и во всем прочем такая же правильная и принципиальная, как и ее должным образом оформленная и заверенная характеристика. Не удивительно, что в свои двадцать четыре года она пользуется заслуженным авторитетом и всеобщим уважением не меньше чем какой-нибудь ветеран. Ну, в общем, отрываем от себя со слезами и болью в сердце. Натe, пользуйтесь и не забывайте нашу доброту! К сему скрепленные внушительной круглой печатью подписи четырехугольника.

Она с напряженным вниманием прочла советское рекомендательное письмо, сочиненное, как после признается Колюня, им самим, и удивилась тому, как хорошо думают о ней посторонние люди. После чего, спрятав его в долгий ящик, где оно находится, наверное, и сейчас, приступила к строительству кооператива.

Нет, в самом деле – хоть и потрепал он ей нервы, но ума-разума добавил. Посудите сами, каково это: выбраться из теплой уютной норы и оказаться в положении рыскающей рыси – положении, которое одно только и дает возможность почувствовать себя свободным человеком. Редкое, между нами говоря, чувство, доступное лишь тем, кому один бог судья – ворам и художникам, например. И то сказать: не каждому дано уловить в людском океане рождение свежей волны спроса, а уловив, соскользнуть с ее изнемогающей предшественницы и, примерившись, вскочить на нее, накатившую, и понестись, испытывая вдохновение, дерзость и созидательный азарт. Еще азартней вздымать эти волны самой. Если, конечно, хватает сил. Словом, это вам не фонды на берегу осваивать. Это другое - рискованное и гибельное. Для тренированных и мускулистых. Как она сегодня.

А в то время ей было не до азарта. Казалось бы, тектонический сдвиг такой силы должен был оставить на ее докооперативном пейзаже внушительные отметины, а то и полностью его разрушить. Но нет – пейзаж был все тот же, к тому же какой-то тусклый, слипшийся, скрепленный тревожным беспокойством, вопрошающим время от времени, правильно ли она сделала, что согласилась с Колюней и не уехала в Москву.

Пока ее охранную грамоту мариновали в формалине казенных формальностей, она подобрала двух женщин из бывших фабричных, которые на тот момент по разным причинам домохозяйничали, и уговорила их встать под ее конкистадорские знамена, по большому счету мало чем отличавшиеся от домохозяйских. Колюня помог им найти помещение, куда они, сняв его за копеечную плату, свезли свои швейные машинки, столы и прочее сопутствующее барахлишко. После этого, распив для более тесного знакомства бутылку шампанского, компания приготовилась к извлечению прибыли. Между прочим, весьма волнующей, если судить по завистливым слухам и сведениям из первых рук, каковыми были руки Колюни. Алла Сергеевна эти ожидания хоть и подогревала, сама преследовала совсем другие ценности: создать свое маленькое черное платье и одеть в него если не мир, то город – вот что было ее ближайшей целью, ее данью неожиданной и курьезной свободе.

Если взирать на ее заботы с технологической точки зрения – а это именно тот ракурс, в котором она с тех пор видела дневную часть своей жизни – так вот, если взирать с господствующих над ее ночными долинами высот, то поначалу ее новое положение представлялось ей прежним, только помноженным на три. То есть, устроив свою ипостась портнихи, она могла теперь без разбору и отказов плодить утроенными темпами свое мастерство и продавать его по рыночным ценам. Так оно поначалу и выходило. Прикрепив над входом исполненную вишневым по голубому вывеску «Ателье женской одежды «Модница», они распахнули двери.

Сперва к ним потянулись ее прежние клиентки, и двигатель частной инициативы, подавившись поначалу непривычным горячим рыночных цен, чихнул пару раз и завелся. К ним приходили с журналами, тыкали пальцем в мечту всей жизни, и они на глаз переводили фасон на кальку, как записывают музыку на слух музыканты. Среди мелодий попадались весьма оригинальные, и все же это были чужие – порой беспорядочные, шумные и нелепые, но всегда полезные и поучительные. И пусть крикливости она во все времена предпочитала элегантность, но нравиться нужно было всем. Клиенткам у них было разрешено капризничать и требовать, но никто не капризничал и не требовал. К ним шли, привлеченные молвой о том, что потратив последние деньги, здесь обретают мечту. Больше всех она любила стеснительных и нескладных девушек, которые умоляюще глядя на нее, просили сшить им что-то такое... такое... ну, в общем, такое, что не сошьет никто, кроме нее! Она колдовала над ними, и они уходили очарованные и воодушевленные, распевая осанну волшебнице Аллочке Сергеевне, которая кого угодно превратит в картинку из модного журнала. Ибо «варенка» «варенкой», «бананы» «бананами», но каждая приличная девушка должна иметь выходное платье. А лучше три.

Сама того не ведая, она с подругами жила по законам успешной буржуазной экономики. Не испытывая нужды в кредитах и тратя собственные средства на нитки, подкладку, тесьму, фурнитуру и прочую малоценку, она неустанно пополняла текущий счет в «Сбербанке», и дело ее оказалось не менее доходным, чем, к примеру, цех надгробных принадлежностей. Выплачивая товаркам зарплату в двести пятьдесят рублей, она через два месяца взяла бухгалтера, а через три – еще одну закройщицу. Нет, нет, безусловно, она не права, окрашивая воспоминания о той поре в унылый серый цвет. На самом деле все было молодо, свежо и вдохновенно, и на работу она спешила, как на праздник. Да, да, именно – как на праздник, кто бы, что бы ни говорил! Тогда отчего это тусклое, слипшееся, пропитанное тревожным ожиданием беспокойство, как будто где-то без нее происходило что-то очень и очень важное, и ей обязательно надо было при этом присутствовать?

Успешный опыт комсомольско-молодежного кооператива попал в бравурные рапорта райкома комсомола, и в октябре Колюня уговорил ее поделиться им с трибуны отчетно-выборной конференции. Через несколько дней после выступления она познала славу, а заодно поняла, что такое реклама: как температура при жаре подскочила цифра заказов, а за опытом к ней со всего города потянулись возбужденные комсомолки. Впечатленные главным образом зарплатами (благоразумно уменьшенными Аллой Сергеевной для чужих ушей в полтора раза),

активистки уходили, преисполненные решимости построить здесь и сейчас общество успешных кооператоров. Однако насколько она знает, ничего путного ни у кого из них не вышло.

Приблизительно через полгода ее деятельная натура уперлась в железные затворы предпринимательской логики. В то время как любая другая на ее месте посчитала бы, что затея определенно удалась (у парадного входа терпели клиентки, у черного – желающие у нее работать) и не искала бы лучшего, она, готовясь занести ногу для следующего шага, пребывала в нерешительности. А между тем, постигнув артельную правду, дело требовало как минимум технологического обновления – следовало приобрести современные швейные машины и сопутствующее оборудование. Следовало двигаться вперед и менять стратегию: не дожидаясь клиенток, шить впрок то, чего нет в магазинах – новое, дерзкое, недорогое, качественное – и идти с ним на рынок. Словом, следовало расширяться: переезжать на новые площади, набирать дополнительный персонал, брать кредит и превращаться в частную фабрику. По силам ли ей такой груз? Да, безусловно, считала она. Только где опустить отяжелевшую ногу – здесь или в Москве? Вот в чем вопрос.

К марту девяностого поток клиенток неожиданно и резко сник, и обратная сторона рыночных радостей открылась ей во всей своей капиталистической красе. Конечно, женские ряды можно было бы пополнить противоположным полом, но она не любила одевать мужчин, полагая, что удел неряшливого по своей природе мужчины (а ряшливый мужчина – это уже подозрительно) – прикрыться неважно чем и следовать драпированной женской воле. А кроме того пришлось бы менять вывеску. Да, конечно, средств у них к тому времени хватило бы не только на самую красочную вывеску, но и чтобы пережить самый черный день. Только вот как прикажете быть с внезапно обнаружившимся родством между делом, которому она отдалась с головой, и ее обанкротившимся личным счастьем – с этими двумя якобы надежными поверенными, одинаково предавшими ее в момент наивысшего им доверия? Это как музыковеду неожиданно открыть в операх двух совершенно разных композиторов общие интонации, после чего мучить себя вопросом, кто кому и до какой степени подражает. Будь она тогда лет на пятнадцать суевернее – и впору начинать опасаться упований, избегать воодушевления, брать паузы, а то и вовсе отходить от дел.

Вольно же ей теперь вопрошать из бельэтажа Большого театра, чего ей не хватало в том патриархальном кооперативном инкубаторе конца восьмидесятых – благостном, без наездов и крыш, под присмотром партии и комсомола, которые сами ударятся во все тяжкие лишь через пару-тройку лет. Впрочем, вопрос этот для нее давно уже риторический, а ответ очевиден: потому что она выросла из одежд девушки со швейной машинкой и хотела гораздо большего. Хотела свободно и масштабно творить для тех, кому было по силам оценить ее замах, ибо при всем своем почтении к обывательской экзистенции, видела в ней не более чем пиццевод, переваривающий достижения высокой моды и оставляющий после себя сами знаете что.

Ах, да что брюзжать! Все равно это была замечательная, молодая и нетерпеливая пора, и в ней она, мешавшая филии с фобиями, ощущавшая растущее недовольство всем и вся, старающаяся не замечать, как ей тайно, явно и страстно завидуют и постигающая ту мысль, что одежда вообще и модная одежда в частности – это язык не столько времени, сколько заключенной в нем нравственности.

Между тем их неупорядоченное с Колюней сожительство с партийной точки зрения оскорбляло всякие приличия. Он даже больше, чем она радел за кооператив, в котором видел надежную гарантию ее оседлости. Его покровительство, нескромное и небескорыстное, простиралось далеко за рамки комсомольских полномочий. Например, она пользовалась его служебной черной «Волгой», на которой ездила в банк, пока он не нашел для нее легковую машину с надежным водителем. При каждом удобном случае, особенно при обсуждении той кособокой, низкорослой хромоножки, какой оказалась кооперативная альтернатива, он приводил ее пример, как образец успеха частной инициативы, соединенной с партийным лозунгом «Кадры

решают всё». Да, в самом деле, некоторое время мелкобуржуазный выбор был в моде, а вместе с ним и ее «Модница». Но вскоре появился закон о собственности, за которым открылись совсем другие горизонты. Бородатый партийный лозунг, лаконичный и убедительный, как воровской нож, обрел при нем свой истинный, роковой для прочего населения смысл, и вооруженные им начальники принялись кромсать народное добро, как собственную колбасу.

Колюнины смелеющие брачные танцы становились все настырнее и утомительнее, и когда он однажды проговорился, что ждет, не дождется позволения избавить своего водолаза от опостылевшего скафандра, она поняла: пришла пора им расстаться. Никогда после она не спрашивала себя, что было бы между ними, если бы она осталась, потому что всегда знала: рано или поздно она все равно уедет.

Задолго до того, еще осенью 89-го в город с женой и двухлетним сыном приехал Сашка. Помнится, при этой новости она, как при звуке боевой трубы обратила на подругу Нинку лицо, словно собираясь ее о чем-то спросить, но справилась с собой и промолчала, не пожелав вникать в подробности.

Она хорошо помнит свое последнее платье, на которое вдохновила ее удивительно стройная, обворожительно-пугливая, приведенная матерью за руку молоденькая девочка - из тех, что сами, кажется, не понимая своей исключительности, встречаются только в провинции (господи, давно ли она сама была такой!). Ошеломительный шелковый каскад ниспадал с плеч по таким же шелковым, нежным перекатам хрупкого бюста к перехваченной пояском, как запрудой талии, откуда, переведя наэлектризованный дух, волнующими складками низвергался к угловатым, глянцевым, словно леденцы полудетским коленкам.

«Ах, Грандисон! Ах, Ричардсон!..»

Вот, пожалуй, и все показания Аллы Сергеевны, касающиеся провинциальной части ее жизни. Возможно, кому-то они покажутся неубедительными и неискренними, а кому-то бледными и недопетыми. Очевидно, что в них отсутствуют отдельные строчки, абзацы и даже целые страницы, чему виной нерадивый архивариус. Увы, такова природа наших воспоминаний: фасоном схожие с авангардно-концептуальной литературой, что пришивает карманы на спину, заменяет рукава штанинами и не признает нижнего белья, фактурой они напоминают стертые узоры на темной по преимуществу канве памяти. И если чье-то воображение сумело отреставрировать их, сделать ярче, гуще, краше, причудливее, громогласнее, бестолковее и обыденнее, значит, его счастливый обладатель догадался, что и как происходило на самом деле.

5

«В Москву, в Москву!» - стучало взволнованное сердце.

«Фи, опять клише!» - отвернется капризный читатель. Не клише, а пароль, скажем мы с Аллой Сергеевной. Столетний клич, засиженный мухами кич, общее плакатное место, столь же многократно использованное, как ее купе и не менее избитое, чем рельсы, по которым катится ее поезд. Впрочем, его подержанная суть никогда не мешала и не помешает ему оставаться квинтэссенцией надежд и упований всех тех, кому Москва – трамплин на небо в алмазах. Потому и стучит их взволнованное сердце.

Кто сказал, что бездействие и пассивное созерцание есть самый верный путь в царство свободы? Кто там призывает не вмешиваться во враждебный человеку ход вещей, чтобы не повредить свою возвышенность и не поцарапать поэтичность? Нет и нет – в Москву и только в Москву! Туда, в горнило жизни, в авгиевы конюшни счастья, в неведомую обитель темных сил! Именно там новая и настоящая жизнь! Словом, в Москву. Но пока только на разведку.

В командировочном задании, выписанном ею на всякий случай себе и подруге (ехали они туда по приобретенным при содействии Колюни путевкам), открытым текстом провозглашалась цель их поездки – изучить насколько это возможно (да возможно ли это?) во что одеты

москвички, и какой одеждой и тканями торгуют местные магазины и рынки. Что-то вроде детского оправдания «Мы только посмотрим и вернемся!». Приблизительно так она и сказала бессильно взиравшему на нее Колюне. Но был еще скрытый текст – тот, которому следует перелетная птица, неведомым чутьем, глянцевым оперением, незакатным глазом выбирающая место для гнезда. Разумеется, никому, в том числе и Колюне, знать о нем было не положено.

Уже сам путь в столицу стал частью мечты, этаким энергичной, ритмичной увертюрой в исполнении оркестра стыков. Перед ее глазами проплывала передвижная коллекция пейзажей: безмолвные равнины, звонкоголосые лесные просеки, высокопоставленные вершины гор, кривые зеркальные осколки рек. Ее вниманию предлагались репродукции чужих вокзалов и портретная галерея новых пассажиров, чья тяжелеющая хозяйская распорядительность свидетельствовала об их принадлежности к московской планетарной системе. К сему прилагались цветные эстампы гаснущего неба и гравюры сумерек, тонущих в черном квадрате ночи.

Утром из покинутого ими города вставало солнце и догоняло убегающий поезд.

«Боже мой, неужели я, наконец, еду в Москву!» – опершись о поручень, провожала она затуманенным взглядом отстающую с поклоном зеленую свиту. Этой исполненной потенции фразой с приставкой «по» (поеду) она не переставала ласкать свои ожидания с того момента, как купила билеты и особенно после того как намерение стало тронувшимся поездом, и приставка с Колюней остались на перроне. Повторяла ее и сейчас – стоя в проходе стремительного вагона и с тревожной радостью глядя на березовые просторы, по которым вместе с поездом блуждал ее взгляд.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.